



М. Н. ПОКРОВСКИЙ

Русская история с древнейших времен

<Фрагменты>

<...> Совсем иначе пошло дело в области политики внутренней: здесь, после некоторого топтания на одном месте, в сущности вовсе ничего не было сделано, и Александр Павлович, несмотря на чрезвычайно демонстративные заявления своей несолидарности с предшествующим царствованием, остался на колее, проложенной еще в последние годы царствования Екатерины и с таким рвением пробивавшейся далее Павлом. Объективные условия, создавшие концентрацию крепостного режима, оказались сильнее общественной психологии. <...> С этой психологией связан, впрочем, целый ряд недоразумений, которые начали рассеиваться лишь в самые последние годы, хотя материал для их разъяснения, отчасти, существует уже давно. Конечно, для того чтобы нарисовать себе во весь рост российский либерализм «дней Александровых прекрасного начала», понадобилось знакомство с подлинными дневниками Строганова, опубликованными лишь в начале текущего столетия. Но уже мемуары Чарторыйского, напечатанные еще в 80-х годах прошлого века, давали такую превосходную характеристику «топтания на одном месте», что после них говорить серьезно о «реформах первых лет царствования Александра I» можно было лишь при очень большой предвзятости в пользу всяких реформ, хотя бы они ограничивались переобмундированием русских чиновников на английский лад. Не нужно забывать, что Чарторыйский принадлежал к числу ближайших сотрудников Александра в этих «реформах», — а по уму был самым крупным из всего кружка, не исключая, конечно, и самого императора. Если этот человек, вовсе притом не желавший злословить, стремившийся, напротив, представить злосчастные «реформы» в возможно более выгодном свете, не мог припомнить ни одного факта в их пользу, кроме того, что «теперь лучше была организована продажа соли» — и, в конце концов, должен был признаться, что

«дело шло» главным образом о том, чтобы «ввести в новую администрацию молодых друзей императора», то, значит, вообще сказать было нечего. «Молодым друзьям» — это до последней очевидности ясно из мемуаров Чарторыйского — нечего было сказать не только после, ретроспективно оценивая результаты своей деятельности, но даже и в разгар этой последней. Когда им понадобилось развернуть свою платформу перед императором, они выпустили вперед старика Семена Воронцова, а тот, в свою очередь, не сумел сказать ничего, кроме повторения старых щербатовских рассуждений о сенате и его значении. Это могло быть недурно в дни Комиссии 1767 года¹, но после Французской революции, после конституции 1791 года, которую даже и Александр читал в подлиннике, этого было маловато... Между тем Воронцов так и не мог съехать со своего Сената. «Каждая фраза графа Семена начиналась и кончалась Сенатом, и, когда он не знал, что сказать и что отвечать, он повторял одно и то же, ничего не прибавляя... Нам казалось, что потом император даже и во сне должен был слышать голос, кричавший ему на ухо: “сенат! сенат!” В этой аффектации было что-то смешное и неуклюжее, что должно было охладить императора, вместо того чтобы одушевить его». Звучащая в последних словах ироническая нотка должна как будто внушить читателю, что у самих «молодых друзей» имелось в запасе что-то лучшее старых «монархических» рассуждений. Было бы очень опасно поддаваться этому внушению: для самого радикального из друзей Александра, для «русского якобинца» Строганова, одна старая записка Безбородки, который «знал всего Монтескье наизусть», казалась верхом политической премудрости. «Ограничением (произвола) должны быть учреждения уже существующие, — писал Строганов в своем “Общем плане работы с императором над реформой”. — Создать новый порядок вещей для этой цели мне казалось бы очень опасным, и, дав некоторый блеск и кое-какие (quelques) привилегии учреждениям старым, можно было бы, кажется мне, создать из них преграду (для произвола) вполне достаточную. Бумага князя Безбородки дает в этом отношении канву для всего, чего только можно пожелать». «Мой принцип, — поясняет он в другом месте, — изменять вещи, а не слова, и облекать нововведения в старый костюм так, чтобы не поражать ими никого и чтобы перемену заметили тогда, когда к ней уже привыкли». Необычайно длинная, и даже теперь, спустя сто лет, в чтении, необычайно скучная канитель с такими элементарными «нововведениями», как разрешение покупать землю недворянам или запрещение продавать людей без земли (в сущности воспроизводившее лишь знаменитый указ Петра, никогда не исполнявшийся), ставит искренность слов Строганова вне всяких сомнений: новое одевали в старый костюм так старательно, что,

будь воля «молодых друзей», кроме этого старого костюма от «нововведений», пожалуй, ничего бы и не осталось. К счастью, в дело вмешивались иногда «старики», вроде Мордвинова², Румянцева, даже (кто бы подумал?) Платона Зубова. Благодаря первому в России была узаконена — фактически существовавшая, конечно, и ранее — буржуазная земельная собственность (указ 12 декабря 1801 г., разрешавший купцам, мещанам и казенным крестьянам покупать землю). Благодаря второму закон впервые признал за крестьянином право «никому не принадлежать» — ни частному лицу, ни казне, право, впрочем, чисто принципиальное, ибо осуществление его зависело от тех, кому крестьяне принадлежали в настоящий момент (так называемый «закон о вольных хлебопашцах» 20 февраля 1803 г.). Платон Зубов едва не сделался виновником ограничения барского произвола относительно дворовых, но этому, слишком смелому, нововведению «молодые друзья» успели помешать вовремя. Их аргументация против опасных новшеств отличалась безукоризненной логикой. По поводу проекта — запретить или ограничить продажу крестьян без земли, «на вывоз» (при данных условиях одно из главных средств помещичьей колонизации, свободу которой в сущности и отстаивали «молодые друзья»), кто-то из них рассуждал: «...этот обычай, каким бы варварским, каким бы отвратительным он ни был, связан с общим порядком вещей, — то есть с положением крестьянина по отношению к его барину. Как тронуть одну из ветвей, не видя ее связи со стволом?.. Мера этого рода не может быть введена, не задевая различных интересов, если уничтожить ее (продажу без земли) вовсе; может быть, при помощи распоряжений общего характера, удалось бы обуздать этот обычай и искоренить его нечувствительно, задевая (эти интересы) возможно менее». Зато, когда им самим пришлось заняться вопросом об эмансипации, оказалось, что дальше оброчного мужика они ничего себе представить не в состоянии, так что, опять-таки, старик Мордвинов, с его «буржуазными» проектами крестьянской реформы — необычайно крепостническими на современный взгляд — был куда впереди их.

На самом деле «молодые друзья» хлопотали главным образом о двух вещах: во-первых, о том, чтобы никто не отбил у них монополии личного влияния на императора: для этой цели они ревниво оберегали двери своего «негласного комитета» от вторжения посторонних и облекали его, чрезвычайно невинные, занятия покровом непроницаемой тайны; во-вторых, — получить места, не просто места с жалованьем, конечно: они были люди богатые, — а места, которые давали бы им влияние в администрации. Чарторыйский откровенно признается, что должности товарищей министров были созданы специально для «молодых друзей», то есть без всякой в сущности надобности для

дела. Это его подлинные слова; имея смелость повести свои догадки дальше его прямых признаний, мы не сделаем слишком большой неосторожности, если предположим, что и пресловутое «образование министерств» (8 сентября 1802 г.) имело одной из своих задач такую перетасовку правящего персонала, после которой над «молодыми друзьями» оказывались бы или нули, или люди, им сочувствующие. Их влияние, таким образом, стало прочно, и не было больше надобности играть в заговорщиков. Все другие, обычно приводимые, мотивы гораздо менее объясняют дело. О замене коллегиального начала личным могут говорить лишь люди, не имеющие понятия о русской административной практике XVIII века. Коллегии с самого начала были пустой формой, и на самом деле президенты этих коллегий, имевшие непосредственный доклад у императрицы, уже при Екатерине II являлись настоящими министрами, не говоря уже о том, что функции теперешних министров юстиции, внутренних дел и финансов были и юридически в руках одного лица, генерал-прокурора. Фактически последний являлся премьером, в теперешнем смысле слова, поскольку у него не оспаривали этого положения такие фавориты, какими были Потемкин и Зубов. При Павле «личное начало» было проведено так далеко, как только возможно — при нем появилось и самое звание «министра» (министр уделов) и был составлен тот план министерств, который был адоптирован, в конце концов, «молодыми друзьями». Прибавим, что павловский режим — управление через двух-трех доверенных лиц — все время продолжал господствовать и при Александре, несмотря на существование министерств: до первой войны с Наполеоном все, фактически, было в руках триумвирата «деятелей» (*faiseurs*), как называли тогда в салонах Петербурга Чарторыйского, Новосильцева и Строганова; после первой войны — в руках Сперанского по гражданской части и Аракчеева по военной, а в конце царствования — в руках Аракчеева — по всем частям. «Кабинета» в английском смысле, о котором теоретически мечтал Новосильцев, никогда не было — по той простой причине, что кабинет опирается на партийную организацию, а сменявшиеся около Александра мелкие котерии никогда не выражали собою мнения даже придворных кругов в широком смысле, не только что какого-нибудь течения за пределами двора. Если их политика была все же классовой, то потому лишь, что их члены были представителями определенного общественного класса и не могли вылезти из своей социальной кожи, как и из кожи физической. Это дает известную физиономию «реформам первых лет»: все они, начиная с проектов превращения всех крестьян в оброчных и кончая проектами превратить сенат в некоторое подобие палаты лордов, носят на себе

явный отпечаток взглядов и интересов крупной знати. С этой точки зрения, образование комитета министров, вероятно, уже напомнило читателю «верховных господ» петровской эпохи. Но была и огромная разница: тогда «верховные господа», в союзе с буржуазией, представляли собою крупнейшую прогрессивную силу; теперь «молодые друзья» и их старые советники были силой, несомненно, реакционной. После пугачевской помещичьей России, вкусившей от сладости нового барщинного хозяйства, рекою лившего золото в дворянские карманы, не нужно было ни оброчного мужика (всегда ведь, как мы знаем, «утаивавшего» свои доходы от барина), ни аристократической конституции, стеснявшей центральную власть. Для того чтобы вести хозяйство по-новому, нужен был крепостной мужик, поработанный больше, чем когда бы то ни было, и железный полицейский порядок, который обеспечивал бы власть барина над этим мужиком. Это, немного лет спустя, и объяснил Александру Карамзин в самой доступной форме. «Равнодушие» дворянства к «преобразовательным планам» Александра объясняется не чем другим, как тем, что для дворянства в целом эти планы были более чем излишними. Передовые группы нового дворянства, «помещиков-предпринимателей», были бы, может быть, не прочь от буржуазной конституции: проекты Сперанского и позже декабристов представляли собою эхо чаяний и ожиданий этого дворянского авангарда. Но тут поперек дороги стала та же старая знать: бессильная создать что-нибудь положительное, она отнюдь не желала делиться властью с российским «сельским сквайром», который умел разводить коноплю и пшеницу, но Монтескье не знал не только наизусть, как Безбородко, а нередко и по имени. Знаменитая характеристика Строганова относится именно к этому провинциальному дворянству: «Дворянство у нас состоит из некоторого количества людей, которые сделались благородными только благодаря службе, которые не получили никакого воспитания и которые, по всему своему миросозерцанию, неспособны представить себе, чтобы что-нибудь могло быть выше императорской власти. Ни право, ни суд — ничто не может зародить в них идею хотя бы о самомалейшем сопротивлении! Это — класс самый невежественный, самый грязный, и ум которого наиболее ограничен. Такова приблизительная картина дворянства, живущего в деревнях». План Сперанского рухнул под напором придворных кругов, и они же, эти круги, явились свирепыми судьями декабристов. Что масса не поддержала своего авангарда, это более чем естественно: масса всегда довольствуется минимумом. А минимумом для дворянской массы, как цинически, но верно выразил Карамзин, были хорошие губернаторы: еще проще говоря, хорошая — с помещичьей точки зрения — полиция. Со всем

остальным можно было повременить. Только грубое вмешательство в непосредственную хозяйственную практику помещика могло в эту пору всколыхнуть среднее дворянство и, на минуту, солидаризировать его с аристократическими верхами. Так было в последние месяцы царствования Павла; так случилось в конце первых лет царствования его сына: и в том и в другом случае почвой была внешняя политика.

Как видим, «реформы первых лет Александра I» для своего объяснения совсем не нуждаются в личности того, чье имя они носят. Оставляя совершенно в стороне вопрос о «роли личности в истории», мы можем игнорировать Александра Павловича этого периода просто потому, что он был тогда — извиняемся за плохой каламбур — совершенной безличностью. Собственные убеждения у Александра сложились постепенно, в результате его жизненного опыта, уже как императора, приблизительно ко второму десятилетию XIX века. Особенно повлияла на него в этом отношении последняя борьба с Наполеоном (1812–15 гг.). В 1801–1805 годах это был недоучившийся ученик отчасти Лагарпа, отчасти своего отца — «наполовину швейцарский гражданин, наполовину прусский капрал», по ядовитому, но меткому замечанию Чичагова, который имел случай наблюдать его очень часто именно в этот период его жизни. И едва ли тот же Чичагов придумал фразу, вырвавшуюся в его присутствии у Александра, в минуту откровенности: «Господи! как меня пугает эта огромная ответственность и затруднения, окружающие меня со всех сторон! Как бы я был счастлив, если бы у меня было пятьдесят тысяч рублей дохода да хороший полк, которым я мог бы командовать, вместо этой огромной страны и стольких народностей, которыми я должен управлять!» От отцовских уроков у него твердо засела в памяти важность «выпущек, погончиков и петличек»: он целые дни просиживал в комитетах, обсуждавших новую форму кивера или ботфортов, в то время как статс-секретарь у принятия прошений, Муравьев³, по месяцам не мог добиться аудиенции. Мундиромания свирепствовала так же, как при Павле, нимало не стесняемая проектами конституции: и в то время как последние оставались на бумаге, новые проекты мундиров немедленно становились самой живой действительностью. Последним словом в этой области были тонкие, «осиные» тальи (мы помним, какое значение придавал им еще Скалозуб): забота о них доводила офицеров до того, что они на смотре, как барышни на балу, падали в обморок от туго перетянутого корсета. От Лагарпа Александр Павлович усвоил отвращение к рабству, причем, судя по мотивировке, которую он выдвинул в одном заседании негласного комитета, и павловская традиция играла тут свою роль. Полицейский мотив — возможность новой пугачевщины — в этой его аргументации был на первом плане.

Но именно этот полицейский мотив <...> в корне подсекал самую идею эмансипации: как только разнеслась весть о намерениях императора, крестьяне немедленно начали «бунтовать», т. е. подавать на высочайшее имя жалобы на своих помещиков; и этого было, разумеется, довольно, чтобы всякие разговоры об освобождении крестьян заглохли на несколько лет. Таким образом, новый мундир так и остался единственным образчиком индивидуального воздействия молодого императора на судьбы его страны.

Не больше «личностью» был в эти годы Александр Павлович и в своей внешней политике. В старой литературе упорно держался взгляд, перешедший и в учебники, что молодой император вступил на престол, одушевленный необычайно широкими и гуманными, хотя немного неопределенными, воззрениями на свою международную роль. Он будто бы видел в себе охранителя всеевропейского мира и «начал христианских» в отношениях между государями Европы, которых он рассматривал, как членов одной семьи. В пользу этого взгляда цитировались и кое-какие документы — вполне подлинные. Только они вышли из-под пера не самого Александра, а его тогдашнего министра иностранных дел, Чарторыйского, который преследовал, действительно, некоторую идеальную цель, но не совсем ту, какую приписывали внешней политике Александра позднейшие историки. «Я хотел бы, — пишет в своих мемуарах Чарторыйский, — чтобы Александр сделался, некоторым образом, третейским судьей цивилизованного мира; чтобы он был покровителем слабого и угнетенного, стражем справедливости в международных отношениях, чтобы его царствование, одним словом, начало собою новую эру в европейской политике, которая должна была впредь быть основана на общем благе и на праве каждого». Какая сентиментальность, скажет читатель. Вовсе нет: Чарторыйский был все, что угодно, но только не сентиментальный фантазер. Можно сказать, что вся жизнь этого замечательного человека была в одну точку: «моя система, — говорит он, — своим основным принципом устранения всех несправедливостей необходимо вела к постепенному восстановлению Польши. Но, чтобы не натолкнуться сразу же на трудности, которые неизбежно должна была встретить дипломатия, столь противоположная укоренившимся взглядам, я избегал произносить имя Польши. Идея ее восстановления подразумевалась всем смыслом моей работы, всем тем направлением, какое я хотел придать русской политике: я говорил только о постепенном освобождении народов, несправедливо лишенных их политического существования; я не боялся назвать греков и славян: все это было как нельзя более согласно с желаниями и мнениями русских; но, косвенно, все это было приложимо также и к Польше». Александр не был в числе обманываемых: он был посвящен в планы своего министра. Ему, без

сомнения, льстило быть спасителем, избавителем, добрым гением всех угнетенных, в том числе и поляков; но инициатива этого «красивого жеста» принадлежала совсем не ему, и неизвестно, добрался ли бы он до этой идеи собственными средствами. Еще менее можно усвоить этой голове, «посредственной во всех отношениях», тот тонко рассчитанный маккиавеллизм, с каким Чарторыйский стремился сделать слугою своего дела не более, не менее, как Англию. «Самое могучее оружие, каким пользовались до сих пор французы и которым они еще грозят всем странам, это общее убеждение, которое они сумели распространить, что их дело есть дело свободы и счастья народов, — читаем мы в секретной инструкции Новосильцеву, посланному, за спиной официальной дипломатии, вести переговоры с Питтом⁴, инструкции, подписанной Александром, но написанной, конечно, его министром. — Стыдно было бы за человечество, если бы дело, столь прекрасное, приходилось рассматривать, как собственность правительства, которое ни в каком отношении не заслуживает быть его защитником; было бы опасно для всех государств оставлять доле за французами явную выгоду казаться таковым. Благо человечества, истинный интерес законных властей и успех предприятия, задуманного обеими державами, требуют, чтобы они вырвали из рук французов это страшное оружие и, завладевши, воспользовались им против них самих».

Итак, политическая свобода должна была стать оружием в руках держав старого порядка («законных властей») против уже не республиканской, но все еще символизировавшей в глазах мира революцию Франции. Трудно найти в истории дипломатических отношений что-нибудь равное этой международной зубатовщине: и, нужно сказать, ничто не было усвоено Александром Павловичем лучше. Чарторыйский нашел не весьма, правда, благодарного, но чрезвычайно памятливого ученика; конституции Финляндии и Польши, рядом с аракчеевщиной в самой России, находят себе в инструкции Новосильцеву столь полное объяснение, какого только можно желать. Для непосредственной цели переговоров — англо-русского союза — зубатовщина была, правда, излишней роскошью: еще за год до миссии Новосильцева англичане со своей стороны употребляли все усилия, чтобы сделать Россию своей союзницей в войне с Францией. «Англичане стараются здесь со своей обычной энергией и своими обычными средствами подкупить русское правительство, — писал весной 1803 года Талейрану французский посланник в Петербурге Эдувиль. — Английским негоциантам, Торнтону и Байму, живущим в Петербурге, поручено их правительством предоставить в распоряжение адмирала Уорена (английского посланника) от 60 до 70 тысяч фунтов стерлингов; 40 000 уже трассированы на Лондон, и остальные

тоже трассируют немедленно. Полагают, что эти суммы предназначены главным особам при дворе, которых Англия хочет привязать к себе во что бы то ни стало». Когда Новосильцев явился к Питту, английский министр немедленно перевел беседу на столь же реалистическую почву. Учтиво выслушав излияния русского правительства насчет того, что всем народам Европы необходимо обеспечить свободу, «опирающуюся на ее истинные основания», и что из этого принципа должно исходить все поведение договаривающихся держав, Питт заявил, что английские субсидии будут доведены до такой цифры, до какой только окажется возможным. «Мы гарантируем пять миллионов фунтов стерлингов, — сказал он, — быть может, даже немного более». Он оговорился, правда, что далеко за пределы этой цифры Англия не в состоянии будет выйти, не стесняя своей торговли. Александр не обратил должного внимания на эту оговорку и за то впоследствии, в 1807 году, был наказан, очутившись в необходимости заключить весьма постыдный и еще более невыгодный для России Тильзитский мир именно по той причине, что английские субсидии, достигнув предела, иссякли. Но в 1804 году это было еще далеко впереди. Питт же, кроме грандиозных размеров суммы, соблазнял еще (как это делают опытные банкиры) разными маленькими, но весьма приятными удобствами: обещал, например, начать выплату субсидий за три или четыре месяца до объявления Россией войны Франции, так что и расходы по мобилизации оказывались достаточно обеспеченными. Если война не вспыхнула тотчас же, а была отсрочена почти на год, виной была непомерная жадность, проявленная австрийским правительством, — тогда как без участия Австрии Россия не могла двинуться с места. Австрийцы одни желали получить два миллиона фунтов единовременно, за мобилизацию, и, сверх того, по четыре миллиона в год. Что же осталось бы России? Другим препятствием неожиданно явилась Пруссия, каким-то не совсем ясным образом проникшая, по-видимому, в тайну польских планов кн. Чарторыйского: возможно, что «дружба» королевы Луизы с Александром Павловичем была не совсем чужда этому делу. Но большая часть разделенной Польши, с Варшавой в центре, была тогда в прусских руках: возрождение польского королевства являлось предприятием, непосредственно направленным против Пруссии. С одной стороны, грозила опасность потерять Польшу, с другой — Наполеон сулил отнятый им у англичан Ганновер: прусскому королю при всей его симпатии к «интересам законных властей» было от чего поколебаться. С трудом добились от него, чтобы он по крайней мере «не мешал»: и он, действительно, не помешал Австрии и России быть наголову разбитыми Наполеоном.

После Аустерлица (ноябрь 1805 г. — почти ровно через год после переговоров Новосильцева с Питтом) Австрия, для которой весь реальный интерес войны заключался в английских субсидиях да надежде на территориальные приобретения — ей обещали всю Баварию и, кроме того, «исправление границы» с итальянской стороны, — поспешила выйти из игры: интерес идеальный, сводившийся к лютой ненависти австрийских феодалов против «санкюлотской» Франции, должен был помолчать до поры, до времени. Будь для России все дело в английских субсидиях, она, конечно, тоже должна была бы заключить мир. Если она этого не сделала, значит, русско-английский союз опирался теперь на нечто более солидное, чем взятки частного или государственного характера. Это, более прочное, основание русско-английской дружбы французские дипломаты уже указывали с полной определенностью. «Россия слишком связана с Англией своей торговлей, чтобы особенно хлопотать о сохранении мира (с Францией)», — писал в той же цитированной нами депеше Эдувиль еще за полтора года до войны. Русско-английский союз был экономической необходимостью для обеих стран, притом для России более, чем Англии: вот почему и разорвала его вторая, а не первая. Русские войска не только после Аустерлица, но и после Фридланда (2 июня 1807 г.), после второй проигранной кампании, продолжали бы пытаться счастье против французов; но англичане не только отказывались что бы то ни было платить — они отказались даже гарантировать русский заем в Лондоне. Видимо, там окончательно разочаровались в качестве русских штыков, да и пределы, аккуратно намеченные Питтом, были уже перейдены: русскому императору волей-неволей приходилось мириться.

Здесь Александру Павловичу впервые пришлось познакомиться не теоретически, а практически, на самом себе, с неудобствами абсолютизма. Война отнюдь не была его личным делом: русское дворянство, с своей стороны, принесло большие жертвы англо-русской дружбе; в два года было взято 600 000 рекрут: это называлось, правда, милицией, и правительство сначала дало даже обязательство не употреблять ратников ни для чего иного, кроме обороны русской территории, но на самом деле ни один из «милиционеров» после войны не вернулся в деревню, — все они пошли на укомплектование действующей армии. Жертвуя столько рабочих рук, помещики вправе были ожидать, что правительство отнесется к войне серьезно, а оно, бог весть почему, вдруг уступило «врагу рода человеческого». Между тем, по крайней мере в Петербурге, вовсе не были еще утомлены войной. Для дворянской молодежи война представляла, кроме того, специальную выгоду: офицеры на время похода освобождались от обязанности платить долги. Война велась на чужой территории и разоряла пруссаков, а не русских

(разоряла в такой степени, что пруссаки весьма откровенно говорили о предпочтительности для них французского «нашествия» перед русской «дружбой»): ни один неприятельский солдат не ступил еще ногою на русскую почву — и Россия уже сдавалась! Мотивы, повелительно диктовавшие Александру такое решение, для сколько-нибудь широких кругов были тайной: не мог же русский император объявить во всеобщее сведение, что англичане его «разочли». В глазах дворянской массы мир был доказательством слабохарактерности Александра и его неумения вести дела. Его возвращение в Петербург из Тильзита было встречено ледяным молчанием. Его старались «не замечать», как это делают в приличном обществе с осрамившимися молодыми людьми, — и всячески избегали говорить о Тильзите, о мире, о Франции и ее «императоре» (в частных разговорах это был, конечно, по-прежнему «Буонапарте»). Представитель этого последнего (знаменитый обер-полицеймейстер Наполеона, Савари) напрасно приписывал такую сдержанность страху: он на себе мог убедиться, что высшее общество Петербурга отнюдь не запугано. Уполномоченный победителя России сделал тридцать визитов и был принят только в двух домах. Два гостеприимные петербуржца — единственные притом, которые и отдали визит Савари — были, как нарочно, из числа ближайших и раболепнейших слуг Александра Павловича. Все, что было понежезависимее, бойкотировало французов без всякого страха. Правительство не решалось опубликовать тильзитский договор — и, пользуясь этим, на бирже публично говорили, что мир, может быть, вовсе еще и не заключен — так только болтают... Причины особенно нервного отношения к делу именно биржи мы сейчас увидим: пока что отметим, что подмеченные Савари явления вовсе не были местными, петербургскими. Наоборот, чем дальше от столицы, тем разговоры становились, если так можно выразиться, безбрежнее. Проезжавший через Лифляндию французский консул Лессепс слышал там, что «противная миру партия получает с каждым днем все больше силы. Говорят, что во главе этой партии стоит вдовствующая императрица, поддерживаемая англичанами и их приверженцами; к этому прибавляют, что император Александр, опасаясь их угроз, вместо того чтобы въехать в столицу тотчас после своего отъезда из Риги, счел более благоразумным отправиться сначала в Витебск, чтобы заручиться значительной частью войска, которую можно было бы употребить в случае нужды; что в Москве брожение достигло крайних пределов, и ожидают известия о заключении вдовствующей императрицы в монастырь, и т. д.». Но что было спрашивать с захолустных помещиков, когда французскому послу в Петербурге, человеку, которого уже одно официальное положение обязывало быть наибольшим оптимистом в этом случае, нет-нет

да и подвертывалась под перо параллель с событием 11 марта 1801 г. «Все жалуются, но никто не недоволен настолько, чтобы нужно было бояться катастрофы», — писал в феврале 1808 г. преемник Савари, Коленкур, которого, за его дружбу с Александром, Наполеон потом прозвал «русским». — «Воспоминание об императоре Павле и страх перед великим князем охраняют жизнь императора лучше, нежели правила и честь русских вельмож и офицеров». Другими словами: Александра не убьют, утешал Коленкур Наполеона, потому что боятся, что его наследник, Константин Павлович, окажется копией Павла. Чего стоило одно такое утешение!

<...> Коленкур старался уверить себя и своего повелителя, что дело совсем не серьезно: «фрондируют, как и во всех столицах». Но у дворянской фронды 1807–8 годов были очень глубокие основания. Тильзитский мир обозначал присоединение России к континентальной блокаде, объявленной берлинским декретом Наполеона (21 ноября н. ст. 1806 г.). Французский император не допускал в этом случае никакого нейтралитета — Россия должна была прервать всякие торговые сношения с Англией, как прямые, так и косвенные (через посредство датчан, например). «Последние меры, принятые русским правительством против англичан, произвели здесь очень сильное впечатление, — доносил Савари от 6/18 октября 1807 г. — В особенности в купеческом мире позволяют себе наиболее замечаний по этому поводу. На закрытие гаваней английским кораблям смотрят как на запрещение, наложенное на все произведения русской земли, которые Англия покупала и вывозила ежегодно в таком большом количестве; продолжение такого положения вещей представляется уже бедствием, которое прямо затронет интересы народа. Враги Франции, ловко хватающиеся за всякое оружие, которым они могут бороться с нею здесь и уменьшить влияние, которое, как они опасаются, она может оказать на общественное мнение, не упускают случая воспользоваться таким средством... Можно опасаться, что если вскоре не будут приняты какие-либо репрессивные меры, жалобы торговцев примут более серьезный характер. Г. Румянцев так думает, и только от усердия этого министра будет зависеть помешать тому, что он предвидит». Но даже начальник наполеоновской полиции понимал, что дело слишком серьезно, чтобы его можно было уладить обычной тактикой полицейского участка. Вероятнее всего, не сам, а при помощи французского консула в Петербурге, Лессепса, Савари набрасывает далее довольно широкий план, легший позже в основу коммерческой политики Наполеона относительно России. «Франция имеет, может быть, больше средств, чем Россия, чтобы заставить умолкнуть жалобы русских купцов, этого

разряда людей, ставящих выше всего свою личную выгоду, — продолжает он свое донесение. — Достаточно бы было распространить в публике слухи, что Франция, которая так давно не делала закупок в России, намеревается закупить лесу, пеньки, холста и пр. При настоящих обстоятельствах подобный торг был бы для нас столь же полезен в политическом отношении, сколько и выгоден: мы приобретем хорошее мнение наиболее недовольных и заставим забыть англичан, о которых будут жалеть по очень многим причинам, если мы не постараемся заменить их; выгода ж будет та, что Франция, пользуясь минутою, закупит все без конкурентов, а следовательно, и дешево». Наполеон очень заинтересовался идеей. Велено было распространить в Петербурге слух, что Франция намерена закупить на русском рынке на 20 миллионов франков материалов для своего флота. Преемнику Савари, Коленкуру, был отпущен миллион франков со специальной целью поддерживать курс русского рубля, — за три года (1804–1807) упавший с 350 до 200 сантимов, что очень удручало русское министерство финансов. Коленкуру, в его инструкции, было нарочито предписано собрать французских негоциантов, имеющих в Петербурге, «ободрить» их и составить из них комитет, который бы занялся возрождением русско-французской торговли. Все это было очень недурно на бумаге, но действительность готовила жестокое разочарование. Во-первых, никаких французских «негоциантов» в русской столице не оказалось, кроме содержателей модных магазинов, которые не могли же заменить англичан в деле покупки железа и пеньки. Те, кто предлагал свои услуги, были, по признанию самого французского консула, личности очень сомнительные. А затем возник вопрос, что же делать с закупленными товарами? Если еще лионский бархат или брюссельские кружева выдерживали перевозку сухим путем, то от холста, а тем паче железа или пеньки ничего подобного ожидать было нельзя: привезенный на лошадях из Москвы в Париж русский холст обошелся бы дороже самого тонкого голландского полотна. Между тем, как осторожно выражался французский торговый комитет в своем докладе Коленкуру, «мореплавание, если смотреть на него только по отношению к его пользе торговле, не представляет более удобства при перевозке съестных припасов и произведений промышленности обеих наций. Оно будет, по всей вероятности, закрыто в течение этого года более чем когда-либо, а если сообщение прекратится, ввоз в Россию и вывоз из нее окажутся вполне невозможными, если не принять к тому некоторых мер». Эти последние, по мнению французского торгового комитета, заключались не более, не менее, как в создании системы внутренних водяных сообщений между Невою и Вислою, с одной стороны, Вислою и Рейном — с другой... Прежде чем французы смогли бы

заменить на русском рынке англичан, надо было бы вырыть с тысячу верст новых каналов, примерно: не мудрено, что в Петербурге к возне Коленкура и Лессеписа относились с полным равнодушием. В то же время на Балтийское море, хотя на нем в это время не было ни одного английского военного корабля, никто не решался показать носа: так была велика уверенность всех в несокрушимости британской монополии на водную стихию. Блокада Англии на практике превращалась в такую полную и совершенную блокаду балтийских берегов, какую только можно себе вообразить. После шестимесячных хлопот положение на петербургском рынке было таково, по оценке самого французского посланника: «Курс несколько ниже 20 ходячих голландских су за бумажный рубль. Несколько месяцев спустя после Амьенского мира⁵ (т. е. в 1803 году) тот же рубль стоил 39 таких же ходячих голландских су. Отчасти курс определяется отношением серебряного рубля к бумажному. В то время как после Амьенского мира за рубль, т. е. 100 копеек серебром, получали не более $1\frac{1}{4}$ рубля или 125 копеек бумажных, теперь за него можно получить $1\frac{4}{5}$ рубля или 180 копеек тех же бумажных. По всей вероятности, за один серебряный рубль можно будет получить до двух рублей бумажных, как только будет объявлено о новом выпуске бумажных рублей (число которых сохраняется в строжайшей тайне в этой стране)». Приведя некоторые смягчающие обстоятельства в объяснение такой картины денежного рынка, Коленкур переходит затем к рынку товарному и дает чрезвычайно любопытную таблицу цен на главнейшие предметы русского экспорта в ноябре 1803 и в марте 1808 года. Несколько цифр из этой таблицы дадут понять читателю о размерах кризиса, созданного в этой области Тильзитским миром: <...> цены на железо упали на 60, а на пеньку даже на 75%! В то же время цены на все мануфактурные товары сильно поднялись, причем Коленкур сам не решался объяснить этот подъем падением курса рубля, как ни сильно ему хотелось этого. Утешение, которое он в этом случае мог придумать, звучит почти комически: если бы Балтийское море было свободно, говорит он, то положение торговли сделалось бы довольно сносным. Но так как именно этого-то и нельзя было ожидать, то оставалось уповать лишь на то, что торговцы в прежнее время получали хорошие барыши и теперь, на прикопленное от счастливых лет, «смогут перенести настоящее тяжелое положение». Утешение было, во всяком случае, не для русских торговцев. Но был разряд предпринимателей, на которых даже сам Коленкур не находил возможным распространить свой оптимизм: и эти наиболее несчастные были не более, не менее, как магнаты тогдашней России, железозаводчики: «Эти последние, не продававшие товара в течение последних двух лет, с целью поддержать необыкновенно высокие цены, поднятые

англичанами на этот товар, теперь завалены им; когда же банк принужден был прекратить выдачу ссуд за счет этого товара, потому что их стали требовать слишком много, то последовал усиленный сбыт его со стороны Демидовых, причем 400 000 руб. наличными деньгами понизили этот товар до ничтожной цены 130 копеек или $1\frac{3}{10}$ кредитного рубля за 330 голландских фунтов... (то есть за русский берковец). Для знати, за весьма немногими исключениями, дело непоправимо. При своих запутанных делах, обремененные всегда долгами и находящиеся вечно под ножом ростовщиков, они еще больше будут страдать, пока продолжается война, и, следовательно, будут сетовать».

Записка Коленкура со всею ясностью, какой только можно пожелать, намечает тот общественный класс, который должен был быть отброшен в оппозицию Тильзитским миром. Это были представители крупного землевладения, то есть те самые старые и молодые «монаршисты», с которыми управлял Александр до 1807 года — или, вернее, которые до этого времени управляли от его имени. Не сумев предупредить катастрофы, они теперь первые от нее пострадали, но винили, конечно, не себя, а все то же козлице отпущения: самодержавного, юридически, императора, чуть ли не из каприза — и, во всяком случае, из трусости — заключившего мир. Старик Строганов был одним из первых, кто отказался впустить в свои салоны французского посла. И уже очень скоро дело пошло гораздо дальше. В ноябре 1807 года Савари мог доносить новому союзнику Наполеона почти что о заговоре, затевавшемся «английской партией», называя прямо по именам Новосильцева, Кочубея и Строганова как его вождей. Савари, конечно, мастер был сочинять «заговоры» — такая была его профессия, — но у него было в руках документальное доказательство если не злоумышления, то несомненного зложелательства недавних «молодых друзей» императора. Этим доказательством был заграничный памфлет, привезенный в Петербург английским агентом Вильсоном и распространявшийся в петербургских гостиных не кем другим, как Новосильцевым с братией, — памфлет, где не щадили тильзитского друга Наполеона, резко противопоставляя «малодушию» Александра бодрость русского общественного мнения и мужество русской армии, готовой драться до последней капли крови. Прочтя принесенную Савари брошюру, Александр был буквально вне себя. Он назвал ее «подлой», говорил, что он «топчет ногами» то, что в ней говорится по его адресу; но на самом деле он так мало ею пренебрегал, что вчерашние «молодые друзья» моментально превратились в «этих господ», а секундою дальше в «изменников». И как позже Коленкур, так Александр в разговоре с Савари ни минуты не колебался в социальной характеристике этих «изменников». Он никого не пощадил в этом на редкость откровенном для дипломатической аудиенции разговоре —

ни отца, ни бабушки. «Это царствование Екатерины бросило семена неудовольствия, с которым я теперь вожусь, — говорил Александр. — Покойный император сделал еще хуже. В эти два царствования коронные имения были отданы в эксплуатацию всем этим грязным людям, которых столь прославили события того времени. При Павле давали 9000 крестьян, как брильянтовый перстень. Я решительно высказался против таких приемов управления, я ничего не даю этим людям, а затем я хочу вывести народ из того состояния варварства, в которое его погружала торговля людьми. Я скажу даже больше: если бы цивилизация была достаточно развита, я уничтожил бы это рабство, хотя бы мне это стоило головы. Вот, генерал, источник неудовольствия, — но могут говорить что угодно, меня не заставишь перемениться, и вы скоро услышите о предупреждении, которое я сделаю этим господам». В примечании к этому месту своего донесения Савари прибавляет, что Кочубею немедленно было предложено подать в отставку, а Новосильцев «получил предписание путешествовать».

Вот в какой связи была произнесена Александром знаменитая фраза о его желании уничтожить крепостное право, — фраза, которую так часто цитировали как образчик его обычных взглядов на крестьянский вопрос. На самом деле это было вовсе не простое «выражение мнения» — это был новый боевой лозунг, это был вызов, брошенный «грязным людям», вчерашним «молодым друзьям». Павловская демагогия возрождалась, но на этот раз в руках людей нормальных и, казалось бы, более страшных поэтому, чем погибший 11 марта 1801 года император. Александр как будто нарочно хотел подчеркнуть свой поворот на павловскую колею. Великий полководец гатчинского войска, правая рука Павла, Аракчеев именно теперь приобретает то положение исключительно доверенного лица при Александре Павловиче, в каком привыкла его видеть история: 14 декабря 1807 года (месяц спустя после цитированной нами беседы императора с Савари) предписано было «объявляемые генералом от артиллерии графом Аракчеевым высочайшие повеления считать именными нашими указами». Телохранитель, из-за отсутствия которого, как многие думали тогда, погиб Павел, теперь безотлучно сторожил его сына. Но Александр заботился не только о своей личной безопасности — он хотел показать «грязным людям», что он может сделать. Ему был нужен не только телохранитель, а и политический секретарь, вернее (сам он этого не признавал, конечно), политический руководитель, который занял бы место, опустевшее с изгнанием «молодых друзей». Таким явился Сперанский.

